



Павел Бакулин

Притча о глине, молоке и тишине

<https://litres.ru/73949604>

SelfPub; 2026

Аннотация

Безымянный герой очнулся в месте, где нет факелов и цепей — только дорога из камней, и каждый камень поднимает из памяти то, что он предпочёл не замечать. Ад оказался не огнём, а невозможностью отвлечься от себя.

Но однажды он делает то, чего здесь не делал никто: берёт на себя чужую боль. Этот шаг ломает механизм наказания, и героя изымают — отправляют в рай, где нет страдания, но нет и нужды. Скука становится предупреждением: душа ищет не наслаждения, а участия.

Коза, которая просит подоить её. Глина у реки, которая пачкает руки. Домик, огонь, картофель — райская окраина становится мастерской, где покой обретает форму труда.

Последний переход — на землю, к старику-гончару, который учит: сосуд держится основанием, а человек — делом, которое он не бросает.

«Притча о глине» — философская повесть Павла Бакулина о пути через ад, рай и землю к простому смыслу: человеку

нужно не отсутствие боли, а дело, которое делает его присутствие уместным.

Содержание

НАЧАЛО	5
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Павел Бакулин

Притча о глине, молоке и тишине

НАЧАЛО

ПРИТЧА О ГЛИНЕ, МОЛОКЕ И ТИШИНЕ

Часть I. АД

Есть места, где у человека отнимают шум, чтобы он наконец услышал то, от чего бежал всю жизнь; и если он не слышит, то повторение становится его языком, а боль — его единственной школой.

Глава 1. Дверь без двери

Он очнулся так, будто его не привели и не бросили, а просто перестали удерживать, и он упал — не вниз, не в яму и не в огонь, а в состояние, где всё лишнее исчезло разом, оставив только то, что раньше пряталось под названием потом.

Здесь не было ни факелов, ни цепей, ни грома, который подтверждает трагедию. Не было даже стен в том смысле, в каком человек понимает стены. И всё же он сразу понял, что это — место заключения, потому что заключение определяется не камнем, а невозможностью отвлечься. На зем-

ле человек отвлекается легко: работой, разговорами, новостями, усталостью, чужими ошибками, собственной занятостью. Здесь отвлечься было некуда.

Он ожидал боли как удара — и потому сначала удивился, что удар не приходит. Вместо удара пришло повторение. Повторение было так спокойно и так неумолимо, что он сразу почувствовал его как закон, который не спрашивает согласия и не объясняет причин. Перед ним лежала дорога из камней, и он должен был идти по ней босиком, и с каждым шагом поднималось не столько физическое ощущение, сколько память, причём память не о событиях, а о смыслах, которые он когда-то предал.

Камни не резали кожу. Они резали внутренний взгляд. Они как будто знали, где человек на земле сказал неправду, не потому что ему угрожали, а потому что так было удобнее; где он промолчал, не потому что не понимал, а потому что понимал слишком хорошо; где он отвернулся от чужой просьбы не из злобы, а из усталого равнодушия, которое всегда выглядит прилично. И каждый камень под ногой поднимал из него не картинку прошлого, а то неприятное чувство, которое на земле принято глушить словами всё не так однозначно.

Он шёл и падал, и снова поднимался, потому что здесь не оставляли лежать: лежание не было отдыхом, лежание было лишь другой позой того же повторения. Иногда боль становилась такой густой, что ему казалось: ещё одно мгнове-

ние — и он перестанет чувствовать. Но он не переставал. Здесь не давали потерять чувствительность, потому что потеря чувствительности — это привилегия живых, которые могут спрятаться в сон или в забывчивость. Здесь чувства были частью устройства, как дыхание — у тела.

Самое странное было в том, что у повторения не было конца, и именно это делало его похожим на настоящую ловушку. На земле всякая боль терпит надеждой: ещё немного, и пройдёт. Здесь же ещё немного не существовало. Здесь существовало снова. И человек, который привык жить будущим, впервые столкнулся с тем, что у будущего тоже может быть одна и та же форма.

Он пытался спорить. Сначала он спорил мысленно, потом — вслух, потому что голос всё ещё был при нём, хотя здесь голос звучал иначе, как будто слова падали в материал, который их не отражает. Он говорил, что наказание слишком велико, что жизнь была сложной, что он не хотел зла, что у него были причины, что он старался. Он повторял всё, что на земле звучит как оправдание, когда человек хочет оставить себе право не меняться.

Но повторение не отвечало. Оно не спорило и не доказывало. Оно просто продолжалось, и постепенно герой начал понимать, что спорит не с наказанием, а с тем, что наказание показывает. На земле можно закрыть глаза — и мир всё равно будет вокруг, можно отвернуться — и люди всё равно будут жить. Здесь закрытые глаза не создавали темноты, по-

тому что темнота была внутри. Здесь можно было отворачиваться сколько угодно, но от чего бы он ни отворачивался, он снова приходил к себе.

И тогда он увидел первую особенность этого места: ад не столько мучает, сколько вынуждает быть свидетелем. Он вынуждает смотреть на себя без зеркал, которые льстят, и без судей, которые кричат. Он вынуждает смотреть так долго, пока взгляд либо ломается, либо становится честным.

Когда взгляд стал честнее, ему впервые пришла мысль, от которой стало холодно: если на земле он жил так, будто у каждого поступка есть два конца — один видимый, другой забытый, — то здесь забытый конец становится видимым, и от него нельзя отмахнуться. И если человек привык считать, что ничего страшного не произошло, потому что никто не умер и никто не закричал, то здесь выясняется, что многое умирает без крика, и многое рушится без видимого пожара.

Повторение продолжалось, но в самом повторении появилась едва заметная неровность. Как будто в ткани закона была тонкая складка, не ошибка, а место, где возможно что-то другое.

Он дошёл до участка, где камни лежали чуть иначе, и в этом месте стоял человек.

Глава 2. Камни памяти

Этот человек не сидел и не лежал, как лежат те, кто наконец устал страдать; он стоял так, будто стояние было его выбором, а не вынужденной позой. В его лице не было победы,

но не было и того привычного слома, который герой видел у других: тут не было отчаянного торга с реальностью, не было крика почему я, не было даже надежды на снисхождение. Была странная ясность, как бывает ясность у тех, кто перестал тратить силы на самозащиту.

— Ты тоже идёшь? — спросил герой, и сам удивился тому, что спросил, потому что разговор в этом месте казался таким же лишним, как смех в пустыне.

— Иду, — ответил незнакомец, — только не туда.

Герой посмотрел на дорогу, которая всегда была туда, и на те же камни, которые всегда были эти, и не увидел никаких развилок.

— Здесь все идут туда же, — сказал он не столько человеку, сколько закону.

Незнакомец кивнул так, будто признал правильность наблюдения, но не согласился с выводом.

— Я сюда пришёл по делу, — произнёс он спокойно.

Слова по делу прозвучали здесь почти неприлично, потому что дело на земле связано с выбором, а выбор — с возможностью. Здесь же всё выглядело так, будто возможность давно отменили, оставив только последствия.

— В этом месте нет дел, — сказал герой, почувствовав, как в нём поднимается раздражение. Раздражение было привычным способом защищаться от того, что не укладывается в схему. — Здесь только расплата.

— Я думал так же, — ответил незнакомец без спора, и в

этом думал было не высокомерие, а память о собственной слепоте. — Пока не заметил, что расплата не всегда заканчивается там, где её ждут те, кто привык считать себя устройством.

Герой хотел спросить, кто такие те, но не спросил, потому что вопрос вдруг оказался второстепенным. Главным стало другое: почему этот человек говорит так, будто здесь можно что-то понимать, а не только терпеть.

Они пошли рядом. Камни снова начали поднимать в герое память, и память снова давила, но присутствие незнакомца делало давление иначе организованным: оно переставало быть одиночным. Герой впервые ощутил, что страдание, разделённое хотя бы взглядом другого, меняет свою структуру, как меняется тяжесть, когда её поднимают вдвоём, даже если груз не стал легче по весу.

— За что ты здесь? — спросил герой, потому что в таких местах это спрашивают, чтобы измерить справедливость мира: если чужая вина кажется больше, становится легче дышать собственной.

Незнакомец ответил без попытки приукрасить:

— Я совершил несправедливое. Я сделал так, что в другом человеке умерла надежда.

Он сказал это не театрально, не ударяя себя словами, не требуя сочувствия; он сказал это так, будто произнёс точное название болезни, которую наконец перестал скрывать.

Герой почувствовал, как в нём поднимается привычная

мысль-защита: я хотя бы не делал такого. Но мысль не успела вырасти, потому что незнакомец продолжил, и в продолжении появилась страшная подробность:

— Я понял это слишком поздно. Я думал, что я просто поступаю разумно, защищаю себя, сохраняю порядок, но потом увидел, что человек рядом перестал ждать. Не перестал ждать меня — перестал ждать вообще. И когда я это увидел, я понял, что убить надежду можно не ножом, а равнодушием.

Эти слова ударили в героя не как обвинение, а как узнавание. Он вдруг увидел свою жизнь не в крупных событиях, а в мелких жестах, которые на земле не считают преступлением: не перезвонить, потому что потом; не остановиться, потому что спешу; не вступить, потому что не моё дело; не сказать правду, потому что не хочу ранить; не быть рядом, потому что у меня свои проблемы. Он увидел, как из этих мелочей складывается то же самое — медленное убийство надежды.

Он остановился. Камни под ногами стали невыносимыми, как будто именно сейчас они перестали быть камнями и стали тем, что он делал изо дня в день, не называя этого выбором.

— Что с тобой? — спросил незнакомец.

Герой хотел сказать не знаю, но здесь не знаю звучало бы как привычная ложь, за которую он и оказался в этом повторении.

— Мне стыдно, — выдохнул он наконец, и стыд впервые

прозвучал в нём не как кнут, а как признание реальности.

— Тебе больно? — спросил незнакомец.

Герой прислушался и понял, что то, что он чувствует, не похоже на боль тела.

— Мне противно от себя, — сказал он, потому что только это было точным.

Незнакомец долго смотрел на него, и в этом взгляде не было ни жалости, которая унижает, ни осуждения, которое закрывает дорогу. Было что-то третье: как будто он узнавал в герое человека, который впервые перестал убегать.

— Это редкая боль, — сказал он тихо. — Её нельзя снять, как повязку, и нельзя переждать, как жар. Но её можно превратить, если ты не перепутаешь превращение с бегством.

— Во что? — спросил герой, потому что в этом месте слово во что звучало как просьба о воздухе.

— В действие, — ответил незнакомец, — но такое действие, которое делает тебя честным, а не таким, который просто хочет поскорее перестать чувствовать.

И именно в этот момент пространство словно вспомнило о своём назначении: из темноты вышло то, что здесь было вместо стражи, вместо судьи, вместо народа. Это было не лицо и не фигура в привычном смысле, а закон, принявший форму, чтобы его можно было услышать.

— Пора, — произнёс закон.

Незнакомца увели в сторону, где повторение выглядело гуще, и герой увидел, что там камни уже не лежат на зем-

ле — они как будто лежат внутри человека. Незнакомец не сопротивлялся. Перед тем как исчезнуть, он повернулся на мгновение и сказал:

— Не перепутай. Совесть не для того, чтобы бить. Она для того, чтобы вести.

Когда он исчез, герой остался один на своей дороге и вдруг понял: самое страшное в этом месте не боль, а возможность пройти мимо. Потому что пройти мимо — значит снова стать прежним, только теперь уже навсегда, без оправдания я не понимал.

Он прошептал в темноту, сам не зная, к кому обращается — к закону, к устройству, к самой реальности:

— Если здесь есть справедливость, дай мне взять его путь хотя бы на один раз.

И тьма ответила не голосом, а появлением того же закона, как будто закон всегда стоит рядом и ждёт момента, когда человек перестанет просить облегчения и начнёт просить возможности.

— Ты не можешь отменить чужое, — сказал закон.

— Я не прошу отменить, — ответил герой, чувствуя, как слова идут изнутри, без украшений. — Я прошу заменить. Пусть он хотя бы на миг перестанет тонуть.

Тишина стала густой.

— Зачем? — спросил закон.

И герой, не находя ни красивых причин, ни героических объяснений, сказал самое простое и самое страшное:

— Потому что мне хуже от того, что я иду мимо.

Закон молчал так долго, что это молчание стало измерением.

— Ты уверен? — прозвучало наконец.

Герой вспомнил своё повторение, свою пустоту, свою жизнь, в которой он столько раз обходил чужую боль как лужу, и понял, что сейчас впервые хочет сделать шаг не ради себя.

— Да, — сказал он.

И в этот миг дорога изменилась.

Глава 3. Трещина в повторении

Он ожидал, что перемена будет похожа на гром, на вспышку, на щелчок замка, который наконец открылся, но ад не любил спектаклей и не давал человеку таких утешительных знаков; перемена пришла так, как приходит любой настоящий закон: тихо, не спрашивая, готов ли ты, и именно поэтому она оказалась страшнее, чем любое зрелище.

Камни под ногами остались теми же, тьма вокруг не расступилась, и даже воздух не стал иным, но внутренняя траектория вдруг сместилась, будто его шаги, не изменив направления, начали вести в другую глубину. Он понял это не сразу: сначала ему показалось, что повторение просто стало тяжелее, как становится тяжелее привычная дорога, если идти по ней с чужим грузом, и он на мгновение пожалел о своём да, потому что сожаление — это первая реакция всякой жизни на ответственность, которая перестаёт быть словом.

Но затем пришла волна памяти, и он понял: это не его волна. Это было не то, что поднимали его камни, это было другое — чужое, чужая неправда, чужой поступок, чужая точка, где надежда в другом человеке умерла. Волна накрыла его так, будто он сам совершил это, будто он сам держал руку на занавеске, закрывающей свет, и он дрогнул, потому что это казалось невыносимым и несправедливым.

Но не сразу. Сначала он попытался бросить. Не бежать — здесь бежать было некуда, — а бросить в смысле отказаться: выдохнуть, опустить руки, позволить чужой вине стать просто чужой. Он даже сделал шаг назад, и этот шаг назад был таким лёгким, таким соблазнительно лёгким по сравнению с тем, что он нёс, что он на мгновение возненавидел себя прежнего — того, кто придумал это «да».

И всё же он стоял.

Он стоял сначала из упрямства, потом из страха, а потом — из того, что постепенно стало самым твёрдым в нём: из ясности, что он пришёл сюда сам. Он не был втянут, не был обманут, не был принуждён, и эта добровольность не делала боль меньше, но делала её иной по смыслу, как делает иной любой труд, если он выбран, а не навязан.

Трещина в повторении, та самая складка в ткани закона, стала для него не дырой, через которую можно выскользнуть, а входом в новую форму существования. Он вдруг увидел, что ад устроен не только как наказание, но и как проверка на то, что человек называет собой: если ты — только боль,

то тебя можно сломать болью; если ты — только обида, тебя можно утопить в обиде; если ты — только вина, тебя можно навсегда привязать к вине. Но если ты способен стать действием, тогда ад теряет над тобой главный рычаг, потому что рычаг ада — это замкнутость на себя.

Он не думал об этом как о философии; он думал об этом как о дыхании: когда волна памяти давила, ему приходилось делать медленный вдох и не ждать облегчения, а только держать направление. И это направление не было направлением к выходу, потому что он не знал, есть ли выход; это было направление к другому, простое и непривычное, как первый шаг человека, который всю жизнь ходил только вокруг себя.

Иногда он всё же падал. Не телом — здесь тело было лишь условностью, — падал внутренне, как падают те, кто на миг перестаёт видеть смысл и снова видит только боль. И в такие мгновения он чувствовал, что самый острый удар наносит не мучение, а мысль: зачем я это делаю? — потому что эта мысль открывала дверь к старому спасению, к привычному эгоизму, который всегда готов предложить человеку простое утешение: перестань, займись собой, никому не обязан.

Он слышал это утешение, и в нём звучала сладкая ложь. На земле он слушал её часто. Здесь же, под чужой волной, он вдруг понял, что эта ложь на самом деле и есть первопричина большинства страданий: человек говорит себе я никому не обязан — и делает мир местом, где каждый один, а значит, где боль становится бесконечной, потому что её некому

разделить.

Он поднимался снова.

И тогда впервые увидел, что механизм, который увёл незнакомца, теперь ведёт его: без эмоций, без ласки, но и без ненависти. Ад был равнодушен, и именно это равнодушие делало выбор человека важным: если мир не аплодирует и не ругает, тогда остаётся только то, что ты есть.

Когда волна памяти отступила, он почувствовал усталость, но усталость оказалась странно прозрачной, без привычной грязи самооправдания. И в этой прозрачности он впервые заметил, что его собственная боль, его личное мучение, которое всегда висело над ним как тень, на мгновение отступило не потому, что кто-то его пожалел, а потому, что внутри него появилось новое пространство.

Он понял: его совесть болела сильнее, когда он ничего не делал, потому что тогда совесть становилась тупым ножом, который режет без пользы. А теперь совесть превратилась в инструмент, который режет, чтобы открыть, а не чтобы мучить.

Так он прошёл своё первое чужое наказание до конца и не увидел в конце ни награды, ни похвалы, но увидел то, что в аду было редкостью: возможность повторить добровольный шаг.

Он сделал этот шаг снова.

Глава 4. Чужая вина и собственный стыд

Он искал незнакомца, и когда нашёл его у той же трещи-

ны, тот смотрел так, будто не верил глазам: как будто ожидал увидеть героя сломленным, как и всех, кто пытается сделать здесь хоть что-то не по назначению.

— Ты сделал это? — спросил незнакомец, и голос его дрогнул не от слабости, а от недоверия к реальности.

Герой кивнул. Он не чувствовал себя героем и не хотел, чтобы его таким считали, потому что геройство легко становится новой формой эгоизма: ты начинаешь делать добро, чтобы чувствовать себя выше.

— Ты не должен был, — сказал незнакомец, но в этих словах уже звучало не требование, а растерянность.

— Я не должен, — ответил герой, и в его не должен было облегчение: если не должен, значит, свободен; если свободен, значит, выбор настоящий. — Я просто больше не могу проходить мимо.

Незнакомец опустил глаза.

— Ты не знаешь, насколько это тяжело, — сказал он. — Ты не знаешь всего, что я сделал.

Герой понял логику этого сопротивления: человеку проще считать себя непрощаемым, чем рискнуть поверить, что он всё ещё может жить. Непрощаемость удобна, как железная клетка: в ней больно, но в ней есть объяснение, и человек перестаёт искать выход, потому что считает, что выхода быть не должно.

— Я не заменяю твою ответственность, — сказал герой медленно, чтобы слова не звучали утешением. — Я только

беру на себя часть твоей тяжести на время, чтобы ты мог подняться и сделать то, что должен сделать сам: увидеть правду без того, чтобы в ней утонуть.

Незнакомец долго молчал, и герой видел, как в нём борются две силы: привычка к самонаказанию и слабая, почти забытая способность принять помощь. Принять помощь — это значит признать, что ты ещё живой, а живому придётся жить дальше, а это страшнее, чем вечное страдание, которое хоть и мучает, но не требует будущего.

— Почему ты вообще это делаешь? — спросил незнакомец наконец, и в этом вопросе было то же самое, что в вопросе закона: зачем.

Герой прислушался к себе и понял, что ответ уже изменился. В первый раз он сказал: мне хуже, когда я прохожу мимо. Это было честно, но это было ещё о нём. Теперь же в нём появилось другое понимание, более тихое и более глубокое:

— Потому что я знаю, каково это — когда тебя оставляют одного с самим собой и делают вид, что это справедливость, — сказал он. — Я жил так на земле, я был один даже среди людей, потому что всё время защищал своё лицо и свои оправдания. И если я оставлю тебя одного здесь, я снова стану тем, кем был. Я не хочу быть таким человеком.

Незнакомец поднял взгляд. В этом взгляде не было благодарности, которая делает одного выше другого; в нём было узнавание: ты тоже знаешь.

— Тогда я — начал он, но остановился, потому что слова спасибо иногда недостаточны и иногда лишние.

— Ты сделаешь своё, — сказал герой. — Но сначала просто дыши. Просто пройди свой шаг, когда сможешь. А я пока пройду часть твоего.

Он пошёл снова — и на этот раз чужая волна ударила его сильнее, потому что каждый следующий раз не повторяет предыдущий, а раскрывает глубже то, что скрыто в поступке. Он чувствовал, как чужая память пытается оттолкнуть его, как будто сама вина сопротивляется тому, чтобы её несли двое: вина хочет быть единственной, чтобы властвовать. Но он держался, и в этом держании возникла новая правда: чужая вина, которую он несёт, начинает касаться его собственной, потому что невозможно нести чужое и не увидеть, где ты похож.

Так в нём поднимался стыд — не разрушительный, а очищающий, и он начал отличать стыд от самоедства. Самоедство говорит: ты плохой, и точка. Стыд же говорит: ты сделал плохо, и теперь у тебя есть шанс сделать иначе. Самоедство замыкает, стыд открывает.

И он заметил ещё одно: его собственные мучения, его камни, его привычное наказание становились тише. Не исчезали, но как будто отходили на задний план, уступая место новой работе. Это не было прощением в дешёвом смысле, это было следствием внутренней перестройки: он перестал кормить свою боль вниманием, потому что внимание ушло

к другому.

Вскоре к нему подошёл первый из тех, кто раньше только смотрел.

— Ты правда ходишь вместо него? — спросил тот, и голос его был неприятно ровным, как у человека, который ищет подвох.

— Хожу, — сказал герой.

— Зачем? — спросил тот снова, и в этом зачем была ненависть к любой надежде, потому что надежда требует усилия.

Герой посмотрел на него и понял: этот человек не хочет услышать объяснение, он хочет увидеть, возможно ли иначе.

— Попробуй, — сказал герой тихо. — Не ради меня. Ради того, чтобы проверить, не врёт ли в тебе ещё что-то живое.

Тот усмехнулся, но в усмешке была трещина.

— А если я не смогу?

— Тогда я подниму тебя, — ответил герой, не обещая лёгкости. — Но ты должен хотя бы попытаться, иначе ничего не изменится.

И человек попытался.

Неловко, грубо, как берут чужую чашу те, кто привык разбивать всё, что напоминает о хрупкости, — но он попытался. И в этот момент ад словно качнулся: не стены, не тьма, не механизм, а смысл. Как будто где-то внутри устройства мира появилось новое условие, которое раньше не учитывалось: добровольное несение чужого.

Герой увидел, как у этого человека изменился взгляд: в

нѐм на мгновение стало меньше зверя и больше человека.

И он понял, что процесс начался.

Глава 5. Согласие на чужую долю

Он думал, что в аду невозможно привыкнуть, потому что привыкание здесь кажется предательством: если ты привыкаешь, значит, соглашаешься; если соглашаешься, значит, сдаёшься. Но оказалось, что есть привычка, которая не делает человека рабом, а наоборот, учит его свободе, и эта привычка рождается не из равнодушия к боли, а из верности решению, которое ты повторяешь каждый раз заново.

Он повторял свой выбор: идти туда, где тяжелее, и не потому, что искал наказания, а потому, что не хотел оставлять другого одного. С каждым шагом он всё яснее чувствовал, что чужая вина не переносится так же, как переносится чужой мешок: мешок можно поднять, не становясь им; но чужая вина, когда ты принимаешь её на себя, пытается проникнуть в тебя как оправдание: раз ты несёшь это, значит, ты тоже так мог бы, и поэтому каждый раз ему приходилось держать внутри себя тонкую границу — не отталкивать чужую тьму и не присваивать её как свою, а просто стоять рядом с ней, пока она перестанет казаться единственной реальностью.

Так в нём созревало то, что на земле называют зрелостью, хотя зрелость редко выглядит красиво: она выглядит как способность быть рядом с неприятной правдой и не разрушаться от неё. Он заметил, что вначале, когда он впервые

взял на себя чужую долю, его двигало прежде всего желание загладить собственный стыд; стыд был как огонь, который жёг изнутри и заставлял искать выход. Теперь же огонь стал ровнее. Он перестал жечь, но продолжал светить. Стыд превратился в ответственность, а ответственность — в спокойное согласие делать то, что должно быть сделано, даже если от этого не становится легче немедленно.

Незнакомец, из-за которого всё началось, постепенно менялся, и герой видел эту перемену не по внешним признакам — здесь внешнего было мало, — а по тому, как менялся его взгляд на собственную вину. Раньше незнакомец держался за свою непрощаемость так, будто непрощаемость была единственным доказательством, что он действительно понял тяжесть содеянного. Теперь он всё чаще говорил не я не заслуживаю, а что я могу сделать, и эта разница была огромной: первое замыкает, второе открывает.

Однажды, когда герой вернулся после очередной волны чужой памяти и почувствовал, как тело-условность дрожит внутренней усталостью, незнакомец подошёл ближе, чем обычно, и сказал почти шёпотом — так, будто боялся разрушить хрупкую ясность:

— Мне стало легче не потому, что ты взял на себя часть моего, а потому, что я впервые увидел, что моя вина — не конец. Она может быть началом, если я перестану ею оправдывать своё бездействие.

Герой молчал, потому что это было сказано так, как нель-

зя сказать красиво: это было сказано так, как говорят те, кто наконец перестал делать из своей боли пьедестал.

Тогда к герою подошли ещё люди. Не один и не два: небольшая группа, и в каждом было своё отчаяние, своя ожесточённость, своя привычка кричать на механизм мира, чтобы не слышать механизм внутри себя.

— Мы пробовали, — сказал один из них, — и сначала стало хуже. Боль стала сильнее.

Герой не удивился. Он знал эту логику: когда человек впервые перестаёт защищаться, его рана кажется больше, потому что раньше она была закрыта бронёй.

— Сначала всегда хуже, — сказал герой. — Потому что вы впервые не врётё себе. Но потом станет иначе: боль останется, а вы станете шире неё.

— Как ты это делаешь? — спросил другой. — Ты будто не боишься.

Герой прислушался к себе и понял: страх никуда не исчез. Исчезло другое — власть страха. Он больше не позволял страху быть единственным доводом.

— Я боюсь, — сказал он. — Но я больше боюсь пройти мимо.

И в этих словах было его согласие на чужую долю: не торжественное и не героическое, а будничное и твёрдое, как соглашение мастера вставать в одно и то же время и делать одно и то же дело, потому что иначе не будет ни формы, ни смысла.

С этого дня он стал брать на себя не только чужую долю незнакомца, но и доли других — по мере сил и по мере того, как они сами пробовали меняться. Он не превращался в спасателя, который всё делает за других; он становился тем, кто на время подхватывает, чтобы другой мог встать и пройти свой шаг.

И в какой-то момент он заметил: ад, который раньше казался бесконечным кругом, начал ощущаться как пространство, в котором возможна направленность. Не выход — он всё ещё не видел выхода. Но направление, в котором можно идти не только ради себя, а значит, не по кругу.

Глава 6. Когда боль перестаёт быть главной

Со временем он обнаружил, что у мучений есть странная и жестокая особенность: они питаются вниманием. Пока человек смотрит на боль как на центр, боль растёт и требует подтверждений, словно хочет быть не ощущением, а личностью. Но когда внимание переносится на другого, боль остаётся, однако перестаёт быть главным содержимым мира, и это изменение кажется почти чудом, хотя оно подчиняется простой логике: то, что перестаёт быть центром, перестаёт управлять.

Его собственное наказание — его заслуженные камни — ещё существовало, но стало похожим на далёкий шум, который больше не определяет весь день. Он начал замечать, что может пройти по своей дороге и не разрушиться, потому что внутри него больше не кипела бесполезная, самопожиряю-

щая борьба: я хороший против я плохой. Он начал жить без этого внутреннего суда, который на земле человек таскает с собой всю жизнь, называя его то принципами, то самооценкой, то характером. Здесь же суд стал проще: делаешь ли ты то, что должен сделать сегодня.

И именно тогда он понял, почему чужие наказания оказались менее болезненными, чем его совесть в начале: потому что наказание — это давление извне, а совесть, которой не дают действовать, превращается в давление изнутри, и внутреннее давление всегда тяжелее, потому что от него невозможно отвернуться.

Когда он начал действовать, совесть перестала быть палачом и стала проводником. Она всё ещё болела, но боль этой совести стала похожа не на пытку, а на сигнал, как боль в мышцах после честной работы: неприятно, но понятно, за чем.

Он замечал теперь и другое. Некоторые мученики, увидев новую возможность — переносить часть чужого, служить вместо того, чтобы только страдать, — пытались сделать из этого выгоду. Они говорили: я понесу чужое, и тогда мне станет легче, и действительно, им становилось легче на мгновение, но затем облегчение исчезало, потому что внутренний центр оставался прежним: всё равно я и только я, только теперь я умнее и хитрее. Ад, как ни странно, быстро разоблачал это: когда служение делается ради награды, оно превращается в торг, а торг возвращает человека к одиноче-

CTBy.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.